

НАТАНИЕЛЬ ГОТОРН

АЛАЯ БУКВА



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44
Г74

Серия «Эксклюзивная классика»

Nathaniel Hawthorne

THE SCARLET LETTER

Перевод с английского *Н. Емельяниковой,*
Э. Линецкой

Серийное оформление
и компьютерный дизайн *Е. Фerez*

Готорн, Натаниель.

Г74 Алая буква : [роман] / Натаниель Готорн ; [пер. с англ. Н. Емельяниковой, Э. Линецкой]. — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 320 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-107060-1

«Алая буква» — самый известный из романов Натаниеля Готорна. Об этом романе спорили в гостиных всей Европы, а в России, вскоре после выхода, он был запрещен цензурой по личному приказу Николая I.

Красавица Эстер Прин, выданная замуж за сурового пуританского ученого намного старше ее, не смогла избавиться от чувств к молодому пастору — и изменила с ним мужу. Теперь она носит под сердцем плод этого греха, и вся ее дальнейшая судьба зависит от того, согласится ли законный супруг признать ребенка своим...

Если муж скажет правду, смерть покажется Эстер лучшим из наказаний. Но какую цену он заставит ее заплатить за спасительную ложь?..

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

© Перевод. Н. Емельяникова, наследники, 2018

© Перевод. Э. Линецкая, наследники, 2018

ISBN 978-5-17-107060-1

© ООО «Издательство АСТ», 2018

ТАМОЖНЯ

*Вступительный очерк
к роману «Алая буква»*

Хотя я не склонен, даже сидя у камелька в тесном кругу друзей, распространяться о своей персоне и о своих делах, все же, пожалуй, не так уж странно, что у меня дважды появлялся автобиографический зуд, понуждая обратиться к публике от собственного лица. Впервые это случилось года четыре назад, когда, без всяких разумных причин, которые мог бы привести в качестве оправдания снисходительный читатель или сам навязчивый автор, я облагодетельствовал общество описанием своей жизни в нерушимой тишине Старой Усадьбы. И так как тогда мне посчастливилось найти за пределами моего уединенного жилища нескольких слушателей, теперь я снова хватаю публику за пуговицу и делюсь с нею воспоминаниями о моей трехлетней работе в таможне. Никто еще так добросовестно не следовал примеру «П. П., приходского писца». Дело, по всей вероятности, в том, что, когда автор отдает на произвол стихий исписанные им листки, он обраща-

ется не к тем многочисленным читателям, которые тут же отложат книгу в сторону или вовсе не возьмут в руки, а к тем немногим, которые поймут ее лучше, нежели большинство его приятелей по начальной школе или по школе жизни. Разумеется, иные писатели идут куда дальше и позволяют себе такие откровенные признания, которые пристойно делать лишь одному-единственному, родственному по духу и сердцу, существу: словно брошенная в шумный мир книга непременно отыщет отделившуюся от автора половинку и, соединив его с нею, тем самым довершит круг его бытия. Тем не менее, вряд ли следует говорить все — даже когда говоришь от имени третьего лица. Но так как мысль съезживается, а язык примерзает к гортани, если у говорящего нет ощущения связи со слушателями, ему прощительно вообразить, что он беседует с другом, не самым близким, но внимательным и чутким; от такого приятного сознания наша природная сдержанность оттаивает, мы принимаемся болтать обо всем на свете и даже о нас самих, не приподнимая, однако, завесы над нашим сокровенным «я». Мне думается, что только в такой степени и в таких пределах писатель может быть автобиографичным, не нарушая при этом ни интересов читателя, ни своих собственных.

Очерк «Таможня» еще и потому имеет известное право на существование — право, всегда признаваемое литературой, — что в нем я расскажу, как попали в мои руки многие страницы нижеследующей истории, и приведу доказательства истинности изложенных в ней событий. Таким образом,

по сути дела, настоящей причиной моего прямого обращения к публике является желание показать, что я всего лишь издатель или чуть больше этой самой многословной из всех напечатанных мною повестей. Я позволил себе, не слишком отклоняясь от главной своей цели, дать несколькими дополнительными штрихами беглый набросок людей, чей образ жизни нигде прежде не был описан; среди них находился и сам автор.

В моем родном городе Сейлеме, перед сооружением, которое еще полвека назад, во времена старого Кинга Дерби, было оживленной пристанью, а нынче превратилось в ряд полуразрушенных деревянных складов и почти не обнаруживает признаков торговой деятельности, если не считать брига или барка, выгружающего кожи среди этого меланхолического запустения, или шхуны из Новой Шотландии, сбрасывающей груз дров у въезда в город, — так вот, перед сейлемской обветшалой пристанью, которую частенько затопляет прилив и где кайма чахлой травы вокруг строений свидетельствует о ленивой поступи десятилетий, стоит поместительное кирпичное здание, выходящее окнами фасада на это не слишком веселое место и на другой берег гавани. Высоко на его крыше ежедневно, ровно с половины девятого утра и до полудня, полощется на ветру или уныло свешивается при безветрии флаг республики; тринадцать полос на нем расположены не горизонтально, а вертикально, возвещая тем самым, что правительство дядюшки Сэма представлено здесь только граж-

данскими властями. Балкон над лестницей с широкими гранитными ступенями покоится на шести деревянных колоннах портика. Вход увенчан огромным экземпляром американского орла с распростертыми крыльями, щитом перед грудью и, если память не изменяет мне, пучком молний вперемежку с зазубренными стрелами в каждой лапе. С присущей этой злосчастной птице неуравновешенностью нрава она и гневным взглядом, и клювом, и всей свирепостью осанки словно грозит гибелью безобидным горожанам, особенно предостерегая всех, кому сколько-нибудь дорога жизнь, от вторжения в пределы, осененные ее крыльями. Тем не менее немало людей и сейчас пытается укрыться под крылом федерального орла, полагая, очевидно, что, несмотря на его сварливый вид, грудь у него мягка и уютна, как пуховая подушка. Но и в благодущнейшие минуты он не отличается чувствительностью натуры и рано или поздно — скорее рано, чем поздно — отгонит от гнезда своих птенцов, исцарапав их, клюнув или ранив зазубренной стрелой.

Обильная трава в расселинах мостовой вокруг описанного здания — с этой минуты мы будем называть его портовой таможней — говорит о том, что за последнее время оно не подвергалось буйному натиску деловой жизни. Однако в определенные месяцы выпадают такие утра, когда дела идут более ходко. И тут старожилам вполне уместно вспомнить о годах перед последней войной с Англией, когда Сейлем был настоящим портом, а не таким, как теперь, презираемым даже местными

купцами и судовладельцами, которые не препятствуют его пристаням ветшать и осыпаться, между тем как товары помянутых купцов незаметно и без видимой пользы вливаются в мощный поток нью-йоркской и бостонской торговли. В такие утра, когда несколько судов, большей частью африканских или южноамериканских, одновременно прибывают или готовятся к отплытию, вверх и вниз по лестнице снуют люди, и торопливые их шаги громко стучат по гранитным ступеням. Здесь можно встретить — прежде чем его встретит собственная жена — загорелого шкипера, который только что вернулся в порт и несет под мышкой облупленную жестяную банку с судовыми документами. Появляется здесь и судовладелец, веселый или сумрачный, любезный или насупленный в зависимости от того, какие товары доставлены на его только что воротившемся судне, — такие, которые быстро превратятся в золото, или, напротив того, лягут тяжким, бесполезным грузом на плечи хозяина. Здесь мы увидим зародыш морщинистого, седобородого, озабоченного купца в лице молодого расторопного клерка, который входит во вкус коммерции, как волчонок — во вкус крови, и уже отправляет собственные товары на хозяйском корабле, хотя ему больше пристало бы пускать кораблики у мельничной запруды. Увидим мы возле таможни и уходящего в дальнее плавание матроса, которому нужно свидетельство о гражданстве, и другого матроса, только что высадившегося на берег, худого и бледного, ожидающего направления в госпиталь. Не следует забывать и ка-

питанов маленьких проржавевших шхун с грузом дров из британских владений; эти грубые с виду морские волки не отличаются внешней бойкостью янки, но вносят немаловажную лепту в хиреющую сейлемскую торговлю.

Если собрать их вместе, как оно порою случается на самом деле, и присоединить к ним для разнообразия случайных посетителей, таможня станет на время и впрямь оживленным местом. Но, поднявшись по ступеням, вы куда чаще увидите на площадке у входной двери, если погода летняя, или в соответственных помещениях, если холодно и дождливо, почтенных джентльменов, которые расположились в старомодных креслах, откинутых на задних ножках спинками к стене. Обычно эти джентльмены спят, но иногда все же переговариваются, и речь их — нечто среднее между храпом и членораздельными звуками — отличается особой вялостью, присущей обитателям богаделен и прочим человеческим существам, полностью зависящим от благотворителей, от пожизненной должности — словом, от чего угодно, только не от собственной их деятельности. Описанные выше старцы, сидящие подобно Матфею у сбора пошлин, но едва ли могущие рассчитывать на то, что их призовут к свершению апостольских деяний, и являются таможенными чиновниками.

По левую руку от входа находится комната, именуемая конторой, размером пятнадцать на пятнадцать футов, с очень высоким потолком и тремя полукруглыми окнами; два из них выходят на упомянутую запустелую пристань, третье —

в узкий переулок и на прилегающую к нему часть Дерби-стрит. Из всех трех видны лавки бакалейщиков, судовых поставщиков, старьевщиков, такелажных мастеров, у чьих дверей толпятся, смеясь и болтая, отставные моряки и разные сомнительные личности, неизбежные в дебрях любого портового квартала. Грязные, облупленные стены конторы затянуты паутиной, пол посыпан серым песком — обычай, повсюду уже давно вышедший из употребления; неопрятность, которая царит в этом святилище, с несомненностью свидетельствует, что туда почти нет доступа женскому полу с его магическими орудиями — веником и шваброй. Вся обстановка состоит из печи с огромным вытяжным колпаком, старой сосновой конторки, трехногого табурета возле нее, нескольких совсем ветхих, неустойчивых стульев с жесткими сиденьями и — немаловажная подробность — из библиотеки, то есть книжных полок, где приютилось десятка четыре томов постановлений Конгресса и объемистый сборник правил взимания таможенных пошлин. Сквозь потолок пропущена жестяная труба, через которую можно переговариваться с другими помещениями таможни. И вот, с полгода назад, в этой комнате ходил из угла в угол или сидел на высоком табурете, опершись локтем о стол и рассеянно просматривая утреннюю газету, тот самый человек, который когда-то приветствовал вас, многоуважаемый читатель, на пороге своей уютной рабочей комнатки в Старой Усадьбе, куда весело заглядывали сквозь кроны ив лучи клонящегося к закату солнца. Но если бы вы захотели повидать

его в таможене сейчас, то напрасно справлялись бы о надзирателе — ставленнике демократов: метла преобразований вышвырнула его оттуда, и теперь новый, более достойный человек занимает его место и кладет в карман его жалованье.

Хотя и в юности, и в зрелые годы мне случалось надолго уезжать из старого Сейлема, моего родного города, все же я чувствую — или чувствовал — привязанность к нему, силу которой начинал понимать, лишь когда его покидал. Что и говорить, унылая равнинная местность, застроенная деревянными домами, в общем, не претендующими на архитектурные красоты, неправильная, но весьма ординарная планировка без намека на живописность или оригинальность, лениво и сонно протянувшаяся по всему полуострову нескончаемая Главная улица, которая одним концом упирается в городскую тюрьму и Висельный холм, а другим в богадельню, — словом, весь внешний вид города, где я родился, способен внушить не больше нежных чувств, чем доска с беспорядочно разбро- санными шашками. Однако, хотя в других городах я неизменно был счастливее, к старому Сей- лему у меня сохранилось чувство, которое, за неимением более точного слова, я принужден назвать привязанностью. Возможно, она объясняется тем, что моя семья издавна пустила в эту почву глубокие корни. Почти два с четвертью столетия протекли с тех пор, как некий британец, первый из эмигрантов, чье имя я ношу, появился в глухом, окруженном лесами поселке. Там жили и умирали его потомки, смешивая земной свой прах с по-

чвой, так что немалая ее доля стала сродни брэнной оболочке, в которой мне дано еще какое-то время ходить по сейлемским улицам. Таким образом, это мое пристрастие отчасти объясняется бесстрастной симпатией праха к праху. Не многие из моих земляков поймут меня, да оно, пожалуй, и к лучшему, потому что частая перемена местожительства, по-видимому, лишь совершенствует породу.

Но есть для моей привязанности основание и другого, нравственного порядка. С тех пор как я себя помню, в моем детском воображении жил образ нашего родоначальника, которого семейные предания окружили туманным, сумрачным величием. Он до сих пор преследует меня, и я испытываю к прошлому этого города некое родственное чувство, которое отнюдь не распространяется на его настоящее. Мне чудится, что своим правом обитать в Сейлеме я обязан не столько самому себе, чье лицо мало кому знакомо, а имя — памятно, сколько этому бородатому, одетому в черный плащ и островерхую шляпу суровому прародителю, который так давно появился здесь с Библией в одной руке и шпагой в другой, так торжественно выступал по только что проложенной улице и был такой заметной фигурой в дни мира и войны. Он сочетал в себе воина, законодателя, судью, правил церковными делами, отличался всеми достоинствами пуритан и всеми их недостатками. Как истый пуританин, он был фанатиком, и квакеры свидетельствуют в своих воспоминаниях о его беспощадной суровости к одной женщине из их секты — жесто-

кости, которую, боюсь, будут помнить дольше, чем любое из его многочисленных благих деяний. Сын унаследовал от отца дух фанатизма и сыграл столь зловещую роль в преследовании ведьм, что кровь их, так сказать, оставила на нем несмываемый след, который, должно быть, до сих пор пятнает его старые иссохшие кости, зарытые в земле Чартерстритского кладбища, если, разумеется, они еще не окончательно рассыпались в прах! Не знаю, достаточно ли раскаялись мои предки в своей жестокости, чтобы заслужить прощение небес, или до сих пор стонут в ином мире под бременем ее последствий. Так или иначе, я, пишущий эти строки, беру в качестве их представителя весь позор на себя и молю, чтобы отныне и до скончания веков над ними не тяготело проклятие, хотя они и заслужили его, судя по тому, что я слышал и что нам известно о трудных и мрачных условиях существования в те давно минувшие времена.

Впрочем, любой из строгих и угрюмых пуритан, несомненно, счел бы вполне достаточным искуплением своих грехов то обстоятельство, что почтенный замшелый ствол их старинного фамильного древа дал через столько лет на своей верхушке отросток в образе такого бездельника, как я. Цели, которые я когда-либо ставил себе, показались бы им недостойными, успехи — если в моей жизни, вне пределов домашнего круга, были какие-нибудь успехи — они сочли бы жалкими и даже постыдными. «Что он делает в жизни?» — шепчет один седой призрак другому. «Строчит романы! Разве это занятие, разве это способ прославить Творца

или послужить роду человеческому в отпущенные ему дни? Просто непостижимо! Почему бы этому выродку не стать уличным музыкантом — одно стоит другого!» Такими комплиментами награждают меня мои праотцы через вековую пропасть! Но как бы они на меня ни гневались, свойства их сильных натур проглядывают и во мне.

Итак, потомки этих ревностных и деятельных людей, укоренившись в Сейлеме еще со времен его младенчества и детства, продолжали жить в нем, блюдя величайшую добропорядочность: никто из них ни разу не посрамил предков неблагоприятным поведением, точно так же, впрочем, как и не совершил — не считая, разумеется, двух родоначальников, — сколько-нибудь памятного или хотя бы приметного для сограждан поступка. Напротив того, они чем дальше, тем меньше бросались в глаза, как те старые дома на сейлемских улицах, которые чуть ли не до стрех ушли в землю, заносимые все новыми слоями почвы. Почти сто лет эти люди из поколения в поколение были связаны с морем; седоголовый шкипер, отец семейства, покидал капитанскую каюту ради домашнего очага, а его четырнадцатилетний сын занимал наследственное место на баке, грудью встречая соленые волны и шторм, столь же неистовые, как во времена его родителя и деда. Потом юноша в свой черед переходил с бака в капитанскую каюту и, бурно проведя лучшие годы жизни в странствиях по свету, возвращался домой, чтобы состариться, умереть и смешать свой прах с родной почвой. Длительная связь семьи с тем местом,

где увидели свет и были погребены все бывшие ее члены, превращает эту связь в сродство, уже не зависящее ни от привлекательности окружающей природы, ни от жизненных условий. Тут дело не в любви, а в инстинкте. Не может называться сейлемцем человек, чей отец и даже дед, не говоря о нем самом, люди приезжие, ибо ему никогда не понять поистине устричной привязанности коренного поселенца, над которым ползет уже третье столетие, к клочку земли, где покоятся многие поколения его предков. Неважно, что город не радует его душу, что он устал от старых деревянных домов, пыли и грязи, от плоского ландшафта и плоских чувств, от ледящего восточного ветра и еще более ледящей атмосферы общественной жизни: и эти, и любые другие недостатки, которые он видит или придумывает, не имеют ровно никакого значения. Чары не исчезают, они так же могучи, как если бы родные места были земным раем. Поддался им и я. Словно какой-то высший долг повелевал мне обосноваться в Сейлеме, чтобы в течение отпущенного мне срока обитатели города видели черты лица, узнавали особенности характера, искони всем памятные, ибо стоило одному члену этого семейства упокоиться в могиле, как следующий, подобно дозорному, уже шагал по Главной улице. Но именно оно, это ощущение, и свидетельствует о том, что пора наконец разорвать ставшую вредной связь. Не только картофель, но и человек мельчает, если на протяжении многих десятилетий сажать и пересаживать его все в ту же истощенную почву. Мои дети родились в других

городах, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы укоренились они в непривычном месте.

Лишь из-за этой непонятной, холодной, безрадостной привязанности я, распроставшись со Старой Усадьбой, решил пойти на службу в кирпичное здание дядюшки Сэма, хотя с не меньшим, если не с большим, успехом мог переехать куда угодно. Но такой уж мне выпал жребий. Я уезжал из Сейлема не раз и не два, уезжал, казалось, навеки и все-таки возвращался туда, то ли как фальшивая монета, то ли как предмет, притянутый в центр своей вселенной. И вот в одно прекрасное утро я поднялся по гранитным ступеням, имея в кармане назначение, подписанное президентом, и был представлен штату джентльменов, которым надлежало помочь мне нести тяжкую ответственность, неотъемлемую от обязанностей надзирателя таможни.

Полагаю, вернее, убежден, что ни у одного чиновника гражданского или военного ведомства Соединенных Штатов Америки не было среди подчиненных такого изобилия почтенных старцев, как у меня. Взглянув на них, я мгновенно понял, где следует искать нашего старейшего гражданина. За последние двадцать лет независимость положения Главного сборщика пошлин была такова, что ему неизменно удавалось уберечь сейлемскую таможню от водоворота случайностей политической жизни, накладывающую печать эфемерности на судьбу каждого должностного лица. Воин — самый прославленный воин Новой Англии, — он твердо стоял на пьедестале прежних боевых заслуг и, ох-